

Хранители энтропии

Эдуард Сероусов

РОМАН



Эдуард Сероусов

Хранители энтропии

<https://litres.ru/74170218>

SelfPub; 2026

Аннотация

Астрофизик Юки Танака получает ночную сводку: далёкая звезда плавно погасла и так же плавно зажглась снова. Этого не бывает — закон возрастания энтропии не отменяет никто. Через девять дней мир принимает Послание: сверхцивилизация Хранителей умеет поворачивать распад вспять и предлагает Земле место в спасённом островке вселенной. Цена — выкачать порядок из девяноста девяти процентов всего сущего и сделать это собственной рукой. Юки ставят оператором замыкания. Её девятилетняя дочь умирает от нейродегенерации, муж умоляет дать ей войти в исцеляющее поле, а на столе лежит архив учителя, которого она когда-то предала молчанием.

Содержание

Часть первая. Счёт, который сходится	4
Часть вторая. Тот, кто был прав	15
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Эдуард Сероусов

Хранители энтропии

Часть первая. Счёт, который сходится

1

Чашка разбилась в три минуты первого, и Юки ещё не успела снять пальто.

Она стояла в прихожей, на холоде с лестницы, который втянулся за ней в квартиру, и держала ключ так, будто забыла, что с ним делать. В кухне горела одна лампа — низкая, над столом, — и в этом круге света сидела Хана и не спала.

Хана не должна была не спать. На тумбочке у её кровати лежал распечатанный график приёма таблеток, который Юки сама и составила, потому что таблицы у неё получались лучше, чем всё остальное; и в этой таблице чёрным по белому стояло, что в девять Хана уже спит. Было за полночь. Девочка сидела за столом в пижаме с выцветшими китами, и перед ней лежал альбом, и она рисовала.

— Ты почему не спишь, — сказала Юки. Это вышло не вопросом. Вопросов она в последнее время старалась не задавать: на них приходилось отвечать, а ответы она знала.

— Я тебя ждала.

Хана не подняла головы. Она вела карандашом линию — длинную, по краю чего-то, что должно было стать домом или кораблём, Юки не разобрала, — и линия не держалась. Она шла ровно, а потом вдруг прыгала в сторону, на полпальца, на целый палец, будто кто-то под локоть толкал. Хана возвращала её обратно, и линия снова дёргалась, и в этом месте на бумаге уже наслоилось три или четыре попытки, серых, мохнатых от ластика.

Юки знала, как называется то, что делало эту линию такой. У этого было латинское имя, и шифр в карте, и прогноз в виде кривой, которую ей тоже показывали на экране, — кривая шла вниз. Тело Ханы теряло порядок. Не болело — теряло. Каждый месяц чуть меньше держалась рука, чуть меньше слушались ноги к вечеру, чуть длиннее становилась пауза перед словом, которое раньше выскакивало само. Распад. Юки занималась распадом всю жизнь, на досках и в данных, и до сих пор он был для неё цифрой; теперь он сидел за её кухонным столом и не мог нарисовать корабль.

Она сняла наконец пальто, повесила, прошла в круг света. Положила ладонь Хане на лоб — проверить, нет ли температуры, потому что проверить было что-то, что она умела сделать руками.

Хана вздрогнула.

— Холодная, — сказала она. Не с обидой. Просто отметила, как отмечают погоду.

— Извини. — Юки убрала руку. У неё всегда были холодные руки; Тео шутил, что у неё кровь идёт в голову и обратно не возвращается, потому что в голове ей интереснее. — Дай посмотрю, что ты рисуешь.

И в эту секунду Хана потянулась за чашкой.

Чашка стояла с краю — белая, с отбитым уже когда-то ушком, чай в ней давно остыл. Хана взяла её, и пальцы не сошлись. Не то чтобы выронила — рука открылась сама, в неудачный момент, как будто на долю мгновения забыла, что держит. Чашка пошла вниз. Юки видела, как она идёт: медленно, как всё важное, переворачиваясь в воздухе, выплёскивая холодный чай дугой, — и потом не медленно, а сразу, и звук был короткий и окончательный.

Юки села на корточки. Осколки лежали на плитке белыми островами в коричневой луже. Она начала их собирать — большие к большим, чтобы потом, — и поймала себя на том, что прикидывает: ушко цело, край ровный, излом чистый, это склеивается. В ящике под мойкой лежал тубик. Она такие вещи держала. Она была человек, который держит в ящике клей, потому что вещи ломаются, а целое лучше сломанного.

— Оставь, — сказал Тео.

Он стоял в дверях кухни, в футболке, босой, со смятым со сна лицом, и было видно, что он не спал по-настоящему, а так — лежал и слушал. Он всегда слушал. Он держал этот дом на слух, пока она держала его на таблицах.

— Тут чисто ломается, — сказала Юки. — Я склею.

— Не надо. — Он подошёл, забрал у неё из руки два осколка, которые она уже сложила краями, и просто отнёс их в ведро. — Не всё надо чинить, Юки. Иногда чашка — это просто чашка.

Он сказал это без нажима, мягко, как говорил вообще всё, и от этой мягкости у неё внутри что-то сжалось сильнее, чем сжалось бы от упрёка. Упрёк можно отбить. Упрёка она бы даже хотела — упрёк значил бы, что они на равных, оба не справились. А он не упрекал. Он давно перестал.

Хана смотрела на них из своего круга света, и в её взгляде Юки увидела то, чего видеть не хотела: девочка следила за матерью с осторожным, опытным вниманием — так смотрят на человека, который вот-вот сделает больно, и заранее решают его пощадить.

— Иди спать, — сказала Юки. — Я завтра посмотрю рисунок. Обещаю.

Хана закрыла альбом. Линия осталась внутри, гулять по своему кораблю в темноте.

Когда дочь ушла и Тео ушёл за ней, Юки осталась на кухне одна, среди вытертой насухо плитки, и было слышно, как на столе, в темноте за кругом лампы, проснулся и тихо загудел её ноутбук.

2

Она не собиралась его открывать.

Она открыла его, чтобы погасить, — экран будил его сам,

приходила почта, — и в почте было письмо с обсерватории, ночная сводка от автоматического обзора неба, такие приходили каждую ночь, и она их читала по диагонали за утренним кофе. Но сегодня в заголовке стоял флаг, который ставила машина, когда не понимала, что нашла. ANOMALY. UNCLASSIFIED. И время — двадцать минут назад.

Из коридора донёсся голос Ханы:

— Мам, посиди.

— Пять минут, — сказала Юки в темноту. — Я сейчас.

Она открыла письмо.

Кривая блеска. Одна звезда — далёкая, ничем не примечательная, жёлтая, как Солнце, в каталоге под номером, без имени, — и её яркость, отложенная по времени. Обычно такие кривые — ровная линия с мелкой дрожью. Эта была не ровная. Сначала всё как у всех; потом, в какой-то час трое суток назад, линия пошла вниз. Не мигнула, не дёрнулась — пошла вниз ровно, гладко, как будто звезду прикручивали реостатом, и дошла до нуля. До настоящего нуля. Звезда погасла.

Юки откинулась на спинку стула. Гаснущая звезда — это не новость; звёзды гаснут по-разному, их закрывает пыль, их съедают спутники, они взрываются. Но гаснущая так — гладко, без вспышки, без выброса, просто убывая в темноту, — звезда так не гаснет ни от чего, что Юки могла назвать.

А потом было хуже.

Линия дошла до нуля, постояла там — несколько часов

чёрного провала, мёртвой точки, — и пошла обратно. Вверх. Так же гладко, так же ровно, тем же реостатом в обратную сторону, и вернулась туда же, откуда ушла. Звезда зажглась снова. Той же, ровно той же яркости. Будто кто-то выключил свет в комнате, постоял в темноте и включил.

Юки смотрела на эту линию долго. В кухне гудел холодильник, и она слышала собственное дыхание, и больше ничего.

Звезда — это печь. Это шар водорода, который миллиарды лет горит, потому что не может не гореть, потому что в его сердце давление сминает ядра и из этого сминания идёт свет, и остановить это нельзя, как нельзя остановить камень, который уже падает. Чтобы звезда погасла на час и зажглась снова, нужно на час остановить падение камня в воздухе, дать ему повисеть и отпустить дальше с той же высоты. Нужно отмотать назад то, что назад не отматывается. Нужно, чтобы в одном-единственном месте во вселенной время на несколько часов перестало течь в ту сторону, в которую оно течёт всегда и везде, — и потекло обратно, аккуратно, по линейке, а потом вернулось как было.

Этого не бывает. Второй закон термодинамики — единственный закон физики, у которого есть направление; единственная стрела, которую вселенная держит всегда в одну сторону. Тепло идёт от горячего к холодному, разбитое не собирается, прошлое не возвращается. Звезда не гаснет и не зажигается обратно, потому что энтропия не убывает. Не

где-то редко, не при особых условиях — никогда. Это и есть та черта, по которой Юки выстроила всю свою жизнь: всё разрушается, и с этим ничего не сделать, и это не зло, это просто счёт, который всегда сходится не в нашу пользу.

Здесь счёт сошёлся в чужую.

Она проверила первым делом приборы — потому что так делают, потому что аномалия в данных это в девяти случаях из десяти аномалия в детекторе, грязь на матрице, сбой калибровки, спутник прошёл по кадру. Она подняла сырые файлы, посмотрела другие звёзды в том же поле в те же ночи — все ровные, спокойные, как положено. Одна машина? Нет — звезду в эти сутки снимали три разных инструмента в трёх точках мира, и все три писали одно и то же. Гладкое погасание. Чёрный провал. Гладкое возвращение.

Не прибор.

Юки сидела перед экраном в синем его свечении, одна, в начале второго ночи, и впервые за долгое-долгое время чувствовала то, чего стыдилась чувствовать: ей было хорошо. Из коридора звала дочь, на плитке ещё стоял запах разлитого чая, наверху лежала кривая, по которой её собственный ребёнок шёл вниз и не возвращался, — а здесь, на экране, была кривая, которая возвращалась, и это была задача. Настоящая, чистая, нерешённая задача, у которой нет правильного ответа в конце учебника, и Юки нырнула в неё с облегчением, с каким ныряют в холодную воду в жару, потому что в холодной воде ничего не болит.

Кто-то когда-то уже считал такое. Не могло быть, чтобы никто. Она открыла поиск по статьям — найти, кто моделировал локальное обращение энтропии в астрофизических объектах, чтобы оттолкнуться, чтобы не с нуля.

Поиск нашёл.

3

Имя стояло в сноске.

Не в заголовке — в заголовках были другие, осторожные, которые ставили вопросительный знак и оговаривались в каждом абзаце. Имя стояло там, куда ссылаются, чтобы отмежеваться: «вопреки спекуляциям [такого-то], не нашедшим подтверждения». «Так называемая сигнатура [такого-то], отвергнутая сообществом». В одной статье — без ссылки вообще, просто оборотом: «известный пример того, как преданность красивой идее губит карьеру».

Элиас Окафор.

Юки сидела и не двигалась.

Она знала это имя не из сносок. Окафор учил её — давно, когда она ещё думала, что физика про красоту, а не про счёт. Он был тот человек, у которого на двери висела от руки написанная бумажка «здесь занимаются невозможным, стучите громче», и который держал на полке шерabatую эмалевую кружку с отбитым краем и пил из неё годами, и когда ему предлагали новую, отмахивался и бормотал что-то под нос, не оборачиваясь. Он был тот человек, который десять лет назад вышел и сказал вслух то, что было в этих сносках:

что во вселенной есть места, где второй закон идёт вспять, и что это не ошибка и не шум, и что у этого, может быть, есть источник. Что кто-то это делает.

Его подняли на смех.

Юки помнила, как именно. Помнила зал, и доклад, и первый смешок в третьем ряду, и как смешок разошёлся, и как Окафор стоял на сцене со своими графиками и ждал, пока стихнет, а оно не стихало. Помнила слово «безумец», сказанное не врагом, а коллегой, по-доброму, в коридоре, со вздохом сожаления о потраченном таланте. Помнила, как у Окафора одну за другой забрали — сначала тему, потом грант, потом аспирантов, потом кабинет с бумажкой на двери, — и как это делалось вежливо, без единого злого слова, просто переставали приглашать, переставали ставить в программу, переставали отвечать на письма достаточно быстро, чтобы он понял.

И помнила, где была она.

Она была в зале. Она была молодая, и у неё впереди была карьера, и она сидела в зале и видела, что он, может быть, прав, — у неё хватало ума увидеть, что у него красивые данные и нечем их закрыть, — и она ничего не сказала. Когда после доклада к ней подошли и спросили, что она, его ученица, обо всём этом думает, она пожала плечами и сказала, что данных недостаточно. Это даже было правдой. Данных было недостаточно. Это была чистая, безупречная, трусливая правда, и она спасла ей карьеру, и она ни разу с тех пор

не позвонила Окафору, потому что звонить было — про что? Извиняться было не за что: она же ничего не сделала. Она просто промолчала, как все, и осталась цела, как не все.

Окафор умер два года назад. Тихо, она узнала из рассылки, в три строки, «ушёл из жизни», без подробностей и почти без некролога. Один. Она тогда подумала «надо бы» — что именно «надо бы», она не додумала, и не сделала, и забыла.

Она сидела перед экраном, и за окном начинало сереть — не светать ещё, а так, разбавляться чернота, — и она машинально поднесла к уху левое запястье.

Часы на нём стояли. Старые, механические, отцовские; они стояли уже скоро год, и Юки давно знала, что стоят, и всё равно подносила к уху, как подносят к уху мёртвую ракушку — послушать море, которого там нет. Стрелки показывали три часа с минутами. Не то время, что сейчас, — то, на котором они когда-то остановились и на котором она их оставила. Она не отдавала их в починку. Она, которая чинила всё, эти одни часы не чинила, и не спрашивала себя почему, и сейчас тоже не спросила.

В правом нижнем углу экрана появилось окно. Не письмо — служебное уведомление, от архива университета, сухое, автоматическое, из тех, что приходят, когда срабатывает какое-то старое правило в какой-то старой базе.

Вам открыт доступ к личному архиву: ОКАФОР Э. Материалы переданы по завещанию автора. Получатель: ТАНАКА Ю.

Он оставил их ей. Два года назад, умирая один, человек, которому она ничего не сказала, отписал свой архив — ей. Не коллеге, не институту. Ученице, которая промолчала.

Юки закрыла ноутбук.

Это ничего не меняло. Аномалия была аномалией, её надо было проверять как аномалию, методично, с нуля, не цепляясь за красивую покойницкую гипотезу обиженного человека. Она закроет это, ляжет спать, утром будет завтрак и таблетки по графику, и потом она спокойно, по-научному разберётся, что погасило звезду.

Из комнаты дочери не доносилось ни звука. Хана давно уснула, не дождавшись обещанных пяти минут, как не дождалась их сотню раз до этого.

Юки сидела в темнеющей серости над закрытым ноутбуком и знала — тем знанием, которое приходит раньше мыслей и которое мысли потом полночи разгоняют, — что откроет архив. Завтра. И что с этого всё и начнётся.

Часть вторая. Тот, кто был прав

4

Архив отдавал подвалом даже через экран.

Физически он лежал где-то в недрах старого корпуса — Юки представляла стеллажи, коробки, холод бетона, — но к ней пришёл оцифрованным: папки, сканы, и отдельно, в углу, несколько звуковых файлов с датами вместо имён. Она открыла их не первыми. Сначала листала сканы — тетрадь, исписанную от руки, зелёными чернилами, мелким наклонным почерком, который она помнила. Окафор писал зелёным; говорил, что чёрное и синее — для покойников и бухгалтеров.

Она листала и убеждала себя, что ищет ошибку.

Так это и делается, говорила она себе. Берёшь гипотезу противника в самом сильном виде и ищешь, где она ломается. Не где она красива — где ломается. Она пролистывала страницы с выкладками, и выкладки были хороши, до неприличия хороши, аккуратны там, где она ждала натяжки, и от их аккуратности ей становилось не легче, а тревожнее. На полях, между формул, шли пометки не по делу — он, видно, писал в этой же тетради всё подряд. «Опять отключили отопление, пишу в пальто». «Не ел со вчера, лень». И один раз, у самого края страницы, рядом с коричневым кольцом от кружки, въевшимся в бумагу, — три слова, наискось, не к

формуле, ни к чему: «трещина честнее целого». Она не поняла, к чему это. Перевернула страницу.

Потом она включила запись.

Сначала была тишина — не пустая, а с шорохом, с дальним гулом, в котором она узнала тот самый сломанный лабораторный обогреватель. Потом кашель. Потом голос — старше, чем она помнила, тише, с одышкой, которой раньше не было.

«...не знаю, зачем я это пишу. Для кого. — Пауза. Шорох бумаг. — Ну, для протокола. Для протокола скажем так. Объект номер... да неважно. Третий за полгода. Гаснет и зажигается. Гладко. — Снова кашель. — Я считал, что это редкость. Один на небо. А их уже три, и я смотрю не туда, я плохо ищу, у меня нет людей, мне нечем искать — но если их три там, где я случайно ткнул, то их не три. Их...»

Он не договорил число. Было слышно, как он встаёт, как отодвигается стул.

«...знаешь, что самое смешное. — Он обращался к кому-то на „ты“, и Юки не сразу поняла, что к ленте, в пустоту, ни к кому. — Я ведь даже не боюсь, что это есть. Я боюсь, что это красиво. Что это кто-то делает нарочно и считает, что делает добро. — Долгая пауза, дыхание. — Они гасят звёзды, понимаешь. Гасят — и не насовсем, в том и фокус, они их потом... ну вот, зажигают обратно. Как будто чинят. Как будто так лучше. — Он усмехнулся, коротко, без веселья. — Я бы записал умную фразу, да устал. Запиши сама,

если слушаешь».

Щелчок. Запись кончилась.

Юки сняла наушники. В кабинете было светло, утро, нормальное утро, на столе остывал кофе, который она опять не выпила. За дверью Тео собирал Хану — было слышно его ровный голос, и её, и обычную возню сборов, в которой теперь появилась лишняя медленность, лишняя осторожность с пуговицами. Всё было на месте.

И всё было не так, потому что человек в наушниках был прав, а она два года назад прошла мимо его смерти, и теперь его правота лежала у неё на столе, оцифрованная, с кольцом от кружки на полях, и спрашивала с неё.

5

Через девять дней мир узнал, что Окафор был прав, и обрадовался.

Это пришло не как открытие, а как объявление — сразу отовсюду, в один час, так что Юки потом не могла вспомнить, откуда слышала первой. Сигнал. Не звезда, не кривая блеска — направленный, структурированный сигнал, который ловили давно и не могли прочесть, а теперь прочли. Не от соседей по двору — издалека, из самого механизма, из того, что гасило звёзды. Источник назвал себя.

Его перевод крутили везде. Юки смотрела его на кухне, стоя, не сев, с кружкой в руке, по тому же ноутбуку, и Тео стоял рядом, и Хана сидела за столом и рисовала, и слушала вполуха, как дети слушают новости.

Послание было короткое и не угрожающее. В этом был весь ужас — что оно было не угрожающее.

Оно говорило — насколько вообще можно было доверять переводу, а его собрали лучшие, и он сходился сам с собой, — оно говорило вот что. Вселенная остывает. Это не мнение и не пророчество, это арифметика: порядок убывает, тепло размазывается ровным слоем, и впереди — не взрыв, не конец света, а медленное, окончательное выравнивание, тепловая смерть, темнота без разницы температур, в которой уже ничего не может произойти, потому что для «произойти» нужна разница, а её не останется. Триллионы лет — но в конце ноль. Гарантированный, посчитанный, неотменимый ноль.

И они, говорило послание, нашли способ. Нельзя спасти всё — закон не обойти, порядок не из чего взять. Но можно собрать остаток порядка, который ещё есть, со всей стынувшей громады — и свести в немногие места, в острова, и там его хватит надолго, очень надолго, дольше, чем где бы то ни было; и там распад можно повернуть. Не остановить — повернуть. Они показали как: гасили звезду и зажигали обратно, чинили её, отматывали ей смерть. В этих островах, говорило послание, время можно будет водить туда и обратно, и ничто дорогое не придётся отдавать стынувшей тьме.

А потом было слово.

Юки ждала его. Она поняла, что ждёт, за секунду до того, как оно прозвучало, — и оно прозвучало, в переводе, акку-

ратным человеческим шрифтом внизу экрана, и сердце у неё на этом слове провалилось куда-то вниз и встало.

Они называли это милосердием.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.